



## П. СУВЧИНСКИЙ

### <Предисловие к кн.: А. Блок. Двенадцать>

София: Российско-болгарское книгоиздательство, [1920]

Прошлое страстно глядится в грядущее.

*А. Блок*

...Но надо быть мудрей, чем предки,  
И праведнее, чем отцы.

*Вл. Маккавейский*

Великие русские пророки и провидцы из глубокой дали предчувствовали русскую революцию. Грядущее событие революции, как неминуемая боль, предопределенными страстями «по предуказанному совету» чуялось русским сердцем и сознанием. Знали, что это будет бунт, жестокий; знали, что она взметется пылью и огнем до самого неба — и небо всего мира почернеет от этого огневого разгула; знали, что революция не только взлетит, но и поползет. В отношении ее совмещали несовместимое, ибо понимали, что, когда развернется «бездна роковая» издавна «подавленных страстей», бездна эта явит в клубке опутывающей, липкой паутины, в засасывающей ржавой плесени свои перегоревшие, перегнившие, но страшно жгучие притаившиеся силы. — Знали, что выползет и поползет уродливое порождение этой бездны, которое соблазнит даже простых сердцем, — предательство — провокация. Каждый предаст каждого: ближний отречется от ближнего; отречется от вчерашнего дня, который внезапно станет «вчерашней далью»; предчувствовали, что совершится, наконец, самое ужасное: что революция неминуемо отречется, предаст родивших ее и родившие в ужасе отпрянут от порождения своего. В последние года ожидание стало особенно мучительно. Не этим ли смертным предчувствием была скована, запугана светлая, добрая душа Чехова? Не были ли пророческими его целомудренная робость и острое ощущение пустоты и скуки? Скука — до страха? Это было роб-

кое затишье, святое смирение после вещей, неистовых пророчеств Достоевского и перед нависающей грозой подлинных событий... Предчувствовали многое, почти все. Но когда революция пришла, *оказалось* — ее не узнали. Приняли только сначала, когда она была «бескровной», когда «Христос был на улицах». Когда же начались сбываться дальнейшие, издавна возвещенные пророчества — вдруг отказались от нее; выпустили все из рук и бежали, как от чужого лихого дела. Неужели не узнали?.. Конечно, нет. Не могли не узнать *своего*... Прикинулись. А прикинулись, потому что испугались. Испугались самих же себя. Не хватило сил перенести ужасную обиду предательства, хотя, может быть, понимали, что без этого было не обойтись. Испугались, растерялись и замолчали. Замолчали все. Все говорившие еще накануне катастрофы громко, непринужденно и веско — стали немыми либо стали браниться исподтишка. Некоторые попробовали возвысить голос, но увидели, что голоса не хватает. Ветер уносил слова и мешал. Другие ждали, но, ничего не дождавшись, с испуга, растерянности и обиды начали «саботировать» кто как умел и смел, пока не стало очень опасно. А когда *приказали* — ничего не понимая, пошли под ярмо. Под *чужое*?..

Если очень страшно, то сознание и тело стынут; все ощущения притупляются; чувства *ощущения жизни* нет. В таком параличе страха в отношении революции оказалась почти вся интеллигенция. Кто много знал — тот больше всех и испугался. Лишь немногие, лишь самые закаленные, прошедшие сквозь, может быть, еще большие страсти — страсти чувственной стихии, — не убоялись, не опрокинулись под натиском бешеного ветра и стали жадно вдыхать его налеты, пристально вслушиваться в бешеные ритмы «зашевелившегося хаоса»<sup>1</sup>. Одним из таких был А. Блок.

Не хочется упоминать рядом с А. Блоком других, и в частности, — как это теперь нередко делается — А. Белого. Пути Блока и Белого к приятию революции совершенно различны. А. Белый пришел по путям мучительных блужданий духа, тогда как А. Блок — сквозь мятеж чувственности.

Подобно другим, А. Блок *предчувствовал* давно. Все неразрешенное волнение 1905 года, его затаившуюся бурю и досаду он высказал в удивительных словах:

Еще прекрасно серое небо,  
Еще безнадежна серая даль.  
Еще несчастных, просящих хлеба,  
Никому не жаль, никому не жаль!

И над заливом голос черни  
 Пропал, развеялся в невском сне.  
 И дикие вопли: Свергни! О, свергни! —  
 Не будят жалости в сонной волне...  
 И в небе сером холодные светы  
 Одели Зимний Дворец царя,  
 И латник в черном не даст ответа,  
 Пока не застигнет его заря.  
 Тогда, алея над водной бездной,  
 Пусть он угрюмой опустит меч,  
 Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной  
 За древнюю сказку мертвым лечь.

1905

Он давно сказал про свое поколение: «Мы дети страшных лет России»; давно увидел, что «от дней войны, от дней свободы кровавый отблеск в лицах есть»<sup>2</sup>. Предчувствовал, хотя и в неясных, но зловещих и вихревых образах, близость неистового «разлива вселенских сил»:

Идут, идут испуганные тучи,  
 Закат в крови!  
 Закат в крови! Из сердца кровь струится!  
 Плачь, сердце, плачь...  
 Покоя нет! Степная кобылица  
 Несется вскачь!<sup>3</sup>

Поэтому поэма «Двенадцать» не была неожиданностью: А. Блок был готов, чтобы не испугаться и услышать, «о чем поет ветер»<sup>4</sup>, вырвавшийся из вековых застенков, веселый и злой, взметающий к небу все на свете.

Начав буйными, но несколько смутными, неотчетливыми напевами о «Незнакомой и прекрасной Даме», А. Блок скоро, пройдя сквозь страстные муки чувственного ненасыщения, нашел для своего вдохновения удивительную форму *чувственного реализма*. Лирика 3-го тома столько же напряженна, страстно-разгульна, сколько конкретно чеканна, образна и реалистично проста. В этом главное ее обаяние и сила. Этого нельзя сказать о религиозной сущности творчества А. Блока. Конечно, А. Блок, как романтик, как певец чувственной стихии, имеющей с религией противоположные, но вместе с тем фатально-сродные средства приятия, познания, вкушения мира, — может быть назван поэтом религиозным; но для А. Блока религия только ощущение — смутное, тревожащее, лишь мгновениями принимающее

реальное воплощение, почти всегда рефлекторное, подсказываемое запросами эстетическими. *Мистического реализма* в творчестве А. Блока нет, и искать его в «Двенадцати» в образе ведущего Христа не нужно. Религиозная сущность «Двенадцати» только в общем выводе, в общем заключении от всех ощущений революции. Религиозно-догматического толкования в этой поэме нет, ибо догмат требует религиозной конкретизации, которой у А. Блока никогда не было. Все осталось в *ощущении*. Воплощения — нет, так как образ Христа «в белом венчике из роз» неубедительный, тусклый, чужой, случайный и безответственный, даже недопустимо безответственный, кощунственный...

Оправдание А. Блока только в том, что вся эпоха его, вся эстетическая его культура были в этом отношении безответственны и порочны. Культ ощущения, культ подсознательного, доведенный до полной безудержности, вседозволенности, — увлечение опасное. Не говоря уже о том, что в искусстве он приводит к смешанным типам художественного мышления, к опороченным, с точки зрения чистоты вида, эстетическим принципам творчества, — он изнеживает, развращает силу истинного творческого внедрения, подменяет мудрую, пристальную его зоркость — болезненной, наострившейся наблюдательностью.

При культе смакования собственных ощущений главным становится непреодолимое желание определить их, сформулировать до последней точности, во что бы то ни стало, не разбираясь в средствах.

Отсюда в эпохи декадансного, распыленно-суетливого, воспаленного мироощущения, когда отсутствует твердое, верное, всепроникающее, но вместе с тем и целомудренное, единое, синтетическое приятие жизни (а таковой была вся эпоха дореволюционного символизма), — все виды творчества становятся компромиссными, смешанными. Один вид искусства делает безответственные заемы у другого, в каких угодно иных творческих областях и сакральных откровениях, нарушая чистоту собственных принципов воплощения. В этом часто грешил А. Блок и раньше, в этом он грешен и в «Двенадцати», и в этом вся ветхость и, может быть, недолговечность его поэмы как художественного произведения.

Как болезненно, беспокойно, суетливо-напряженно, через силу звучат стихи «Двенадцати» рядом с полновесными, уверенными, точно отлитыми из тяжелого металла, гулками словами Вл. Маяковского! А. Блоку для выявления своих ощущений понадобилась сложная схема многоликой драматизации, инсценировки, тогда как все революционные ощущения Вл. Ма-

яковского синтезируются им в коротких словах — звучаниях чистого вида творчества слова. Бессилие это чувствуется особенно в конце поэмы. Как эстетическое средство, образ Христа, занятый у догматической религии, у Великого Откровения, — оказался неудачным. В этом заеме проглядывает даже какая-то распушенность, неразборчивость, пренебрежение средствами, лишь бы достичь эффекта полного выявления собственных утонченных ощущений. А. Блок взял образ Христа, мог бы взять и другой. Главное — ему было необходимо выразить свои смутные, себе же не выясненные религиозные ощущения.

Предположить, что образ Христа взят исключительно для изощренного эстетического сопоставления, конечно, невозможно; для этого у А. Блока слишком много вкуса. А. Блок ощутил религиозную сосредоточенность великой русской ветряной ночи, когда в откровенной схватке, как реальные существа, друг перед другом стоят добро и зло, сознательное злое кощунство и неистовая святость. Ощутил, потому что всегда культивировал в себе способность к всеощущению, но конкретизировать эти ощущения без мучительного компромисса кощунства — не сумел.

Но столько слепоты и нечуткости было проявлено и проявляется со стороны других к революции, что и этот половинчатый ответ на нее — великая заслуга.

Если бы А. Блок подлинно чувствовал в концепции «Двенадцати» реальную, воплощенную сущность Христа, конкретно присутствующую как форму и волю, — он бы, конечно, нашел для него иной образ, иную икону. И, в сущности, неважно для общей сути поэмы — водительство ли Христос или расстреливается. — Образ Христа только яркая, случайная и мгновенная искра, мимолетное свечение нимба среди ужаса ночного ветра, может быть, только символ примирения: и с ними Христос? И только в такой концепции — он может быть частично оправдан. Даже со стороны общего построения конец поэмы никак не оправдывается как нарастание и кульминация. Он небрежно многословен, неотчетлив, с излишними повторениями образов и слов.

Менее удачным следует также признать и 9-й отрывок, имеющий характер образного рассуждения. Сущность поэмы в трепетной первой части. Великое смятение, когда, казалось, все перестало стоять на ногах, все опрокинулось среди ветряной ночи «всего Божьего света», и одновременная растерянность всего «сознательного», жалкая, неуклюжая, трусливая растерянность, бесстыдная даже — восчувствованы и претворены удивительно. Все «сознательное» скользит, падает, шарахается

в сторону, хоронится, шепчется, в то время как ветер бесцеремонно «рвет, мнет и носит» последний символ прошлого «сознательного» владычества — большой плакат: «Вся власть Учредительному Собранию». Лишь двенадцать «бессознательных» человек, которым «ничего не жаль», которые «ко всему готовы», устояли и идут против ветра и бури, среди огней и метели, да бродяга, один на опустевших улицах, как вещей призрак, возвещает «черное, черное небо», «черную злобу, святую злобу» грядущих дней.

В средних отрывках, только в кратких отрывочных фразах, вкрапленных, как неудержанные возгласы на протяжении всего рассказа, — сквозит то же непосредственное внедрение в таинственную темь событий революции...

Товарищ, винтовку держи, не трись!  
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —  
В кондовую,  
В избяную,  
В толстозадую!..

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем,  
Мировой пожар в крови —  
Господи, благослови!..

...Эх, эх!  
Позабавиться не грех!  
Запирайте этажи,  
Нонче будут грабежи!  
Отмыкайте погреба —  
Гуляет нонче голытьба!..

Ох ты, горе-горькое!  
Скука скучная,  
Смертная!..

...Выпью кровушку  
За зазнобушку,  
Чернобровушку...  
Упокой, Господи, душу рабы твоя...  
Скучно!

И только изредка чей-то зоркий голос укоризненно, тревожно и скрыто, как молчаливое покачиванье головы со вздохом, приговаривает: «Эх, эх, без креста...» Да, реального символа креста нет, но кто скажет, что в этих сугробах, «глухих переулках», где одна пылит пурга, куда идут ослепленные вьюгой 12 человек, готовые стрелять в снежную темноту, не зная в кого, в самих себя, может быть, — нет русского крестного бездорожья, русского крестного пути?.. Как ощущение — это уди-



М. Ларионов.  
Иллюстрация к поэме  
«Двенадцать». 1920

вительно! Что касается общей хватки изложения развертывающегося действия, то, несомненно, в ней есть большие соблазны эстетического подхода. Чувствуется эстетическая пресыщенность, которую потянуло на иной разгул и грубость. Есть любование, гутирование грубой силы как новый вид наслаждения усталого наблюдателя. А. Блоку стало скучно, душно в мире своих чувственных видений и призраков. Тесно в волшебном и страстно-любовном кольце знойно-чувственных снежных метелей, вьюжных рожков и бубен, хладных мехов и голубого ветра, визга скрипок и гармоник, сверкания винных чаш, опьяненных губ, вздохов духов, шептания шелков, бормотаний жемчугов, бренчаний монисто; в кольце «Незнакомки», «Прекрасной Дамы», «Снежной девы», «Файны», «Мэри», «Кармен», в кольце весенних встреч первой любви, простых и трогательных и мучительных хищных единоборств «Черной крови».

Было тесно, потому что все это были тени собственного горящего, неутолимо-жаждущего духа; они снились среди томительного одиночества, одни с благодарностью, другие с негодованием и мщением. С самим собой стало страшно. Хотелось чужого буйства, быть больше наблюдателем, чем самому переживать.

А. Блок хотел вырваться из этого кольца, отрекаясь от прежних соблазнов эстетизма. Хотелось разрыва, но вышло продолжение. Желанного примитива в частушках «Двенадцати» нет, а есть, как всегда у А. Блока, чувственно-утонченное изображение любовного разгула («из-за родинки пунцовой возле правого плеча»), взять хотя бы такую чувственно-эстетическую подробность). Так что Катька, наряду с другими мучительными теня-

ми блоковской эротики, вплетается в одну общую чувственную цепь.

Есть ли в «Двенадцати» злорадное, профессиональное, так сказать, превозношение черных событий революции? Об этом так много говорили. В этом А. Блока так много обличали. Конечно, нет. В этом шествии «Двенадцати» — в даль снежной темноты, которая пылит им в очи, точно делая их слепыми, — «без имени святого, без креста» есть что-то обреченное, предопределенное, точно не они сами идут, а их двигает какая-то тайная воля.

Сами же они жалкие, слабые:

Эх ты, горе-горькое,  
Сладкое житье!  
Рваное пальтишко,  
Австрийское ружье!

Игрушечные даже, оловянные солдатики: «За плечами ружьяца... Их винтовочки стальные...» А когда А. Блок говорит: «Вдаль идут державным шагом» — или приводит банально-поддельные «сознательные» рассуждения вроде:

Бессознательный ты, право...  
Поддержи свою осанку!  
Над собой держи контроль!  
Не такое нынче время,  
Чтобы нянчиться с тобой!  
Потяжеле будет бремя  
Нам, товарищ дорогой!.. —

становится неубедительно. Тут противоречие, самообман. Как раз «державность», мощь и победа этого «шествия» — в его неведении, слепоте, чужой воле.

А. Блок не оправдывает и не обличает — он ощущает. Ощутил, понял, пожалел и простил. А дано ему было ощутить потому, что он не убоился. Не потому ли А. Блок сподобился одним из первых радости прощения, когда вокруг все негодовало и мстило, что наряду с неистовыми стихами он мог писать о «Мальчиках и девочках, свечечках и вербочках», о детской спальне, о сиянии зеленой лампадки... Ощущение религиозной предопределенности и религиозной сосредоточенности и *Прощение* — вот в чем разрешение религиозной идеи «Двенадцати».

Настанет время, и недалеко оно, когда поколение безумствующих, мстящих и испуганных сменится поколением смирившихся, успокоенных и прозревших.



Тогда разрешится тяжкий грех русской революции и, кто знает, может быть, ее, наконец, *признают, провозгласят и... простят*. Но, чтобы примириться, нужно, подобно А. Блоку, подойти к ней близко-близко, бесстрашно, пристально взглянуть в темные недра ее иступленных грехов, уловить напряженным (преображенным) слухом биение ее измученного, соблазненного, но праведного сердца. Не принять революции — не принять *своего*, назначенного, заслуженного — значит, не принять Россию прошлую и будущую. Не простить революцию — не простить Россию.

Только в прощении — искупление ее великого греха.

